

Анна Старобинец

Живые

Звонит телефон.

Даже теперь – через две недели после того, как в доме установлен огромный аквариум с раствором – я все еще не могу решиться.

Уже четвертый день подряд мне звонят с фабрики и сообщают: готово.

А я все еще раздумываю. Я не уверена до конца.

Вру. Давно уже все решено, и я, конечно, просто тяну время. Передумать я не могу. И вовсе не потому, что уже заплачены деньги (хотя это большие, очень большие деньги!), а потому, что только ради этого я, кажется, и живу все последние дни. И если сегодня я передумаю, то завтра попросту не смогу найти ни одной внятной причины для того, чтобы встать, одеться, затолкать в себя пищу... ни одной причины для того, чтобы шевелиться.

Так что я говорю в трубку: “Да, я буду сегодня. Где-нибудь около пяти”. И иду собираться.

Менеджер по продажам встречает меня в холле. Не встречает – бросается навстречу, словно ошалевший от счастья пес с переполненным мочевым пузырем в предвкушении прогулки. Я с отвращением представляю, как подергивается в его узких черных брюках обрубок купированного в детстве хвоста.

Менеджер протягивает мне руку и улыбается широко, сладко и, я даже начинаю подозревать, – искренне. То есть он, кажется, действительно рад меня видеть.

Оно и понятно. Я для него очень ценный клиент, для менеджера. Я заплатила за заказ столько, что менеджер по продажам вполне может больше не быть менеджером по продажам. Ему хватит моих денег до смерти – даже если он долгожитель.

Я ставлю последнюю подпись и забираю наконец свою коробку. Все время, пока мы оформляли контракт, она лежала на столе, и я старалась на нее не смотреть. Теперь она у меня в руках.

– Вам помочь донести? – спрашивает менеджер.

– Нет, спасибо.

Она легкая. Она *очень* легкая.

– Она очень легкая, – полувопросительно говорю я.

– Так и должно быть, – предсказуемо комментирует менеджер.

Чувствую себя глупо. Будто спросила у сотрудника крематория, как это такое большое тело поместилось в такой маленький кувшинчик.

Собственно, это мало чем отличается от...

Я все еще сижу в кресле, с коробкой в руках.

– Позвольте предложить вам чашечку кофе? – Менеджер явно не знает, что со мной дальше делать.

– Нет, что вы! – Я вскакиваю.

Еще чего не хватало.

Я ухожу с фабрики и думаю, что, скорее всего, больше никогда в жизни не встречу менеджера. И это очень хорошо. Потому что он знает обо мне слишком много. Если бы на протяжении этого месяца я каждый день приходила не на фабрику, а в церковь, священник, исповедующий меня, наверное, узнал бы о моей жизни меньше.

Кроме того, священнику я бы не смотрела в лицо. В молодое, довольное, резиновое лицо.

Я возвращаюсь домой, ставлю коробку в коридоре, снимаю обувь, иду на кухню. Открываю дверцу холодильника, заглядываю внутрь – не потому, что проголодалась, а так, на автомате. Еды практически нет. С тех пор как... в последнее время я практически ничего не ем: нет аппетита. То есть ем, когда об этом вообще вспоминаю, но очень редко, помалу и какую-то ерунду. Не было такого, чтобы я, скажем, приготовила настоящий обед. Зачем он мне? Зачем он мне одной?

В холодильнике – молоко, сок, пожелтевший кусок сливочного масла в раскуроченной, жирно блестящей фольге, множество консервных банок, засохшие вареные макароны в кастрюле, кокос.

Стараюсь не думать о коробке в коридоре.

Вытаскиваю кокос. Очень долго ищу и наконец нахожу молоток. Кладу кокос на пол, размахиваюсь, бью. Орех откатывается на метр, целый и невредимый. Подхожу и бью снова – тот же результат. Минут десять я гоняюсь за ним по кухне, с молотком в руках. Это хорошие десять минут: я полностью сосредоточена на кокосе и больше не думаю ни о чем. Даже о коробке.

Наконец я настигаю его. Зажимаю в углу кухни, в ловушке, образованной двумя стенами и полом. Отступать ему некуда. Я размахиваюсь и бью (не слишком сильно, чтобы не повредить скорлупу). Кокос удовлетворенно крикает и покорно расходится по швам. Гостеприимно распаивает передо мной две ровные половинки – шершавые, грязно-коричневые снаружи и гладкие, снежно-белые, истекающие тропическим соком, внутри.

Беру нож, выковыриваю кокосовую мякоть, кладу на тарелку.

Не могу есть на кухне. Молча сидеть над этой одинокой тарелкой. Молча пережевывать пищу. Как автомат. Это кажется мне квинтэссенцией моего одиночества. Беру тарелку и иду в комнату, к телевизору. Сам телевизор не работает, но можно смотреть видео. Заталкиваю кассету в видак. Он сопротивляется, давится. Потом все-таки неохотно заглатывает ее, секунд пять жужжит и мучается, наконец с облегчением выдавливает из себя электронную отрывку и замирает. Нажимаю play.

Симпатяга Джонни Депп, в клетчатом пиджачке, в черной шляпе, с белым бантом-бабочкой на шее, долго, бесконечно долго трясется в мрачном повизгивающем паровозе. Вцепившись холеными ручками в свой саквояж, затравленно озирается по сторонам. Смотрит в окно. Смотрит на грязных полудиких попутчиков.

– Откуда ты родом?

– Из Кливленда.

– Кливленд...

– Озеро Эри.

– У тебя есть родители в Эри?

– Они недавно умерли.

– Может быть, у тебя есть жена в Эри?

– Нет.

– Невеста?

– У меня была невеста, но она передумала...

– Нашла себе кого-то еще.

– Нет!

– Нашла, нашла. Впрочем, это не объясняет, зачем ты проделал весь этот путь. Ведь это путь в преисподнюю...

Я понимаю, что мне не досмотреть этот фильм до конца. Слишком медленный. Слишком много раз виденный. Он не сможет отвлечь меня. Не поможет не думать.

Отодвигаю тарелку с кокосом. Мякоть слишком жесткая, плохо жуется. С трудом высиживаю еще минут пятнадцать.

Короткий блестящий клинок ковыряется в нежной Джоннидепповой плоти.

– У тебя рядом с сердцем пуля Белого человека. Я пытался достать ее, но не смог. Вместо пули мой нож вырезал бы твое сердце....

Все, не могу больше. Нажимаю на stop.

Беру на кухне нож и аккуратно вскрываю коробку. Вытаскиваю оттуда сверток. Осторожно отшелушиваю тонкие хрустящие слои. То, что я держу в руках, больше всего напоминает маленькую детскую куклу. Голыша. На ощупь – сухой и шершавый. Как сушеный гриб. Похож ли он на... я не знаю.

Кажется, все-таки не похож. Слишком сморщенный. Но вообще действительно не знаю. Страшно приглядываться.

Я подхожу к аквариуму, встаю на цыпочки, чтобы дотянуться до края, и бросаю “голыша” в воду. То есть в раствор.

Он медленно опускается на дно в пушистом ореоле мелких кучерявых пузырьков. Как шипучий аспирин “Ursa”. Только “Ursa” обычно растворяется, а это, наоборот...

Три дня. Мне осталось ждать три дня.

Чем бы я ни владела, какие бы прекрасные дома в центре Москвы ни принадлежали мне (а мне принадлежит, например, Дом на набережной, и еще большой желтый дом со статуями в Подколокольном переулке, и еще много чего) – с ним я буду жить дома. У нас дома, на Патриарших прудах. В дурацкой трехкомнатной квартире причудливой планировки – с нефункциональным столбиком в коридоре, с продолговатыми комнатками-вагончиками. С некрасивым, всегда грязным линолеумом. В холодной трехкомнатной квартире, которая когда-то давно была дворницкой и в которую вход – прямо с улицы. В темной трехкомнатной квартире с решетками на вечнозанавешенных окнах – чтобы не заглядывали бредущие мимо посторонние. Впрочем, и решетки, и занавески теперь можно снять: ведь посторонних больше нет. И воров тоже нет. Все, кто остался в городе, – его совладельцы; все – богачи...

Я стою, прижавшись лицом к стеклу. Он неподвижно лежит на дне. Раскинув руки и ноги, как морская звезда. Не так, как я ожидала: мне почему-то казалось, что он примет позу эмбриона.

Он довольно сильно разбух. Размером примерно с трехлетнего ребенка. На голове появились волосы. Кожа – белая-белая. Черты лица пока довольно расплывчаты. Я втыкаю розетку в удлинитель и подтаскиваю к стенке аквариума самую яркую лампу. Не дыша, вглядываюсь в эти черты: похож, очень похож, но... все же другое лицо. Мне страшно. Остался один день. Конечно, он разрастется до нужных размеров.

Но что, если эта легкая, едва уловимая непохожесть никуда не исчезнет?

Я выключаю лампу. Еще немного смотрю на маленькое странное тельце. Наверное, все это зря. Наверное, так будет только хуже...

Что-то происходит в аквариуме. Вглядываюсь в темную воду. Пальцы его правой руки слегка – почти незаметно – подрагивают. Я дергаюсь, отступаю на шаг. Потом приближаюсь снова. Ничего. Больше никакого движения. Осторожно стучу в стекло костяшками пальцев – тихо-тихо, как будто хочу подманить любопытную рыбку. Ничего. Я снова включаю лампу; белая изогнутая ее шея-пружина отражается в толстом стекле. За этим отражением, за желто-зелеными бликами я успеваю заметить, как приоткрываются от яркого света – всего на долю секунды – его глаза. И закрываются снова.

Я выхожу из комнаты, медленно-медленно. Мне кажется, что мои ноги сделаны из песочного печенья – и сейчас рассыплются на множество маленьких сдобных песчинок, не выдержав веса тела. Каким-то последним усилием заставляю их двигаться, нести меня по

коридору на кухню, противоестественно сгибаться в коленях, усаживать меня на расшатанный, с истертым коричневым сиденьем, стул.

Сижу за небруннм кухонным столом, веселеньким, икеевско-деревяннм. Курю “Кент”-“единицу”, самый легкий. Страхиваю пепел в половинку скорлупы кокосового ореха. Вторая половинка, доверху наполненная окурками, наклонившись под опасным, очень острым углом, застыла рядом. Стараюсь думать, но мысли растекаются тонкими, второстепенными, извилистыми ручейками, смешиваются со струйками дыма, спутываются в неважный, тревожный клубок. Надо поправить пепельницу, сейчас все рассыплется... Все рассыплется, когда я увижу, что получилось... Экономить сигареты... да нет, не надо... У меня в запасе несколько блоков... Потом можно будет взять еще в магазине... Потом понадобится еще больше сигарет, он ведь тоже... И продукты... На сколько лет их хватит?... Надолго.... В Москве их очень много... Столько больших супермаркетов... До конца жизни... Нет, это вряд ли... Они ведь испортятся... Придется тогда ехать в область... Они там наверняка будут что-то выращивать... разводить... И продавать нам... Сейчас ведь они продают нам воду... Если я сейчас просто откачаю воду... все еще можно остановить... нет, не смогу... он уже шевельнулся... я видела, он шевельнулся... не смогу... не смогу туда больше входить... ждать... черт, рассыпалось... по всему столу... что за помойка... в последний раз, когда я туда ездила, вообще не купила воды... с фабрики поехала прямо сюда... домой... придется опять ехать... не хочется... пропуска... теперь все не важно... остался один день...

Вообще-то попасть в область стало возможным только недавно. До этого мы здесь, в Москве, вообще не знали, остались ли за ее пределами живые люди. Пару месяцев назад нам разрешили выезжать. Все-таки там находится фабрика, в области. Каким-то чудом она не пострадала.

Для москвичей ввели строгую пропускную систему. Но сюда, к нам, по-прежнему не пускают никого.

Весь прошлый месяц я ездила в область каждый день. На фабрику. Со стопками фотографий, с видео- и аудиозаписями, старыми майками и рубашками, с записными книжками. И рассказывала, рассказывала, рассказывала – обо всем. По ночам мелким почерком исписывала стопки бумаги – чтобы ничего не забыть, чтобы не погрязнуть в деталях. И на следующий день рассказывала снова.

Менеджер по продажам, сияя, выслушивал мои исповеди и иногда задавал вопросы.

– Итак, давайте уточним еще раз. Вы хотите, чтобы наша модель полностью воссоздавала исходный образец?

– Да.

– Вы уверены? Я хочу сказать, можно ведь внести некоторые корректировки. Например, сделать стопроцентное зрение. Или вот, вы говорите, вашего мужа мучили мигрени... а также... где это... – менеджер, широко улыбаясь, скользит аккуратной розовой подушечкой указательного пальца по пунктам какого-то очередного бесконечного списка, – вот: зубные боли... гастрит... Все это можно подправить. Хотите?

– Нет.

– Можно, так сказать, вынести за скобки некоторые воспоминания. Неприятные воспоминания. О какой-нибудь ссоре, например...

– Нет.

Менеджер едва уловимо пожимает плечами:

– Что ж...

Выдерживает паузу.

– Позвольте предложить вам чашечку кофе?

– Нет, спасибо.

– Ну что ж... Вернемся к внешним данным. Цвет глаз?

– Карий. Темно-карий.

– Будьте добры, укажите. – Менеджер сует мне в руки большой, приятно пахнущий свежей типографской краской альбом.

Я видела похожие альбомы в парикмахерских. С разноцветными прядями волос. В этом на каждой странице – нарисованные глаза всех возможных оттенков зеленого, синего, серого, голубого, коричневого. Есть даже красные глаза альбиноса. Некоторое время медлю, не в состоянии решить, какой из трех наиболее подходящих коричневых выбрать. Зажмуриваюсь, вспоминаю... Усталые глаза, замученные жесткими кружочками линз...

Тыкаю в нужный цвет пальцем.

Я потеряла его во время революции. Он погиб в этой страшной бойне. Он и еще десять с половиной миллионов человек.

А я осталась. Я – и еще тысяча.

Я осталась – участвовать в Большой Дележке.

Я осталась – владеть зданиями, парками, банками, доставшимися мне.

Я осталась – смотреть, как возводят гигантскую стену вокруг Москвы.

Я осталась – не знать, что творится за этой стеной и выжил ли *там* хоть кто-то.

Я осталась – свободно колесить по пустынным улицам такого на самом деле (а не на карте) огромного города. В любое время суток. Без всяких пробок.

Я осталась в живых. Я осталась жить без него.

– Я бы порекомендовал вам модель “Л-100”. Со скрытыми кнопками, совершенно незаметными. Они спрятаны под кожу. Очень экономичная модель, не нуждается в пище, огнеупорная, практически не бьющаяся, практически не...

– Нет.

– Нет?

– Нет. Мне это не подходит.

– Что именно?

– С кнопками. Огнеупорная. И так далее. Я же сказала вам. Мне нужна модель, *абсолютно* неотличимая от оригинала.

Менеджер опускает глаза, загораживается от меня тонкой фарфоровой чашечкой с кофе. Беззвучно допивает его, промокает вежливый рот голубой душистой салфеткой.

– Что ж.... Значит, вам подойдет наша самая последняя модель. Ее разработка закончилась буквально на днях. Модель без серийного номера, с простым, легко запоминающимся названием – “М”.

– Эм?

– Ну да, “М” – как “Метро”....

Господи, что за идиот! “М” – как “Метро”. После всего этого. Он бы еще сказал: “М” – как “Мертвец”. “М” – как “Могила”.

– ...модель вообще без кнопок. А наша новая технология изготовления позволит сделать ее действительно неотличимой...

– Хорошо. Это мне подойдет.

– Но... я обязан вас предупредить. Эту модель невозможно поставить на паузу. Невозможно отключить. Невозможно перепрограммировать. Это своего рода штучная работа – оттого, кстати, и стоит она в три раза дороже той, что я вам предлагал до этого...

Менеджер застывает, косится на меня вопросительно.

– Цена не имеет значения.

– Что ж... – размораживается с облегчением. – Я также обязан предупредить, что

модель “М” не просто похожа на человека. Это его *полное подобие*. Она функционирует по принципу человеческого организма. Боится холода, жары, нуждается в воде и пище, реагирует на внешние раздражители как живое существо... Крайне непрочна и уязвима. В этом смысле не самая удобная в быту...

– Это именно то, чего я хочу.

– Что ж... Тогда в ближайшие дни я дам вам подробные инструкции. У нас, как я уже сказал, новая технология изготовления. Окончательный запуск модели в работу производится в домашних условиях. Вам, по-видимому, понадобится большой аквариум. Там вы разведете питательный раствор, в котором “М” оформится окончательно. Вам также может понадобиться...

Я установила аквариум в тот же день.

С тех пор прошло две недели и два дня.

Остался один.

Я точно помню день, когда впервые заметила, что что-то не так под землей.

Это было первое марта позапрошлого года. Неожиданный мороз (я еще подумала: вот вам и начало весны) превратил все без исключения московские трассы в конькобежные дорожки, с изысканным коварством присыпанные мелкими гранулами твердых льдистых снежинок. Этот мороз сделал их практически непригодными для передвижения не только на моем легко-задом вертлявом “гольфе”, но и вообще на любом транспорте, не снабженном полозьями.

Опасливо поелозив демисезонной резиной по мутной недружественной глади Садового кольца, я оставила машину у ближайшего выхода метро и – терпеть не могу подземку, но нужно же было как-то попасть на работу – спустилась вниз.

И вот там, в переходе с “Театральной” на “Площадь Революции”, мне впервые показалось, что что-то не так.

Из динамиков лился бодрый мужской голос – такой полузабытый, такой знакомый, такой неприятно родной. Голос из моего короткого социалистического детства – тот, что мешал мне спать (“В эфире – “Пионерская зорька”!”), тот, что всегда ворковал на кухне, когда мать готовила самые вонючие (заливное) и самые несъедобные (тушеная капуста) блюда (“На волне “Маяка” – концерт по вашим заявкам!”), тот, что с жизнерадостным занудством ежедневно пытался меня убедить, что в Петропавловске-Камчатском *всегда* полночь.

Только теперь этот голос говорил совершенно другое (да откуда он вообще взялся в *наше время*, этот непрошибаемый гнусный Оптимист? Разве он не умер? Разве хотя бы не состарился? Почему тогда я не слышу старческих скрипучих ноток в его самодовольном баритоне? Или у этого вечного голоса и *не было* никогда никакого владельца? Адаптированный для простого народа Глас Божий? Синтетическое фуфло?).

Теперь он говорил другое – но все с той же пионерской бравадой:

– ...о лицах, пачкающих одежду других пассажиров, нарушающих общественное спокойствие, занимающихся попрошайничеством, и лицах без определенного места жительства – просьба немедленно сообщать начальнику станции...

...ку-ку-ру-ку! (электронная перебивка)...

– ...в случае обнаружения в вагоне метро бесхозных и подозрительных вещей – не трогая их, сообщайте по переговорному устройству...

...ку-ку-ру-ку!

– ...не просто жевательная резинка с устойчивым вкусом – она тает на языке...

...ку-ку-ру-ку!

– ...Уважаемые пассажиры! Помните, что эскалатор является электрическим средством передвижения повышенной степени опасности. Находясь на эскалаторе, стойте справа,

лицом по направлению движения...

...ку-ку-ру-ку!

– ...Московский метрополитен объявляет набор на курсы машинистов и помощников машинистов электропоездов...

...ку-ку-ру-ку!

– ...Помните ли вы, что подснежники – эти хрупкие, прекрасные цветы – занесены в Красную книгу? Покупая подснежники у несанкционированно продающих их лиц, вы способствуете уничтожению редких...

...ку-ку-ру-ку!

Не обращая на приставучее звуковое сопровождение никакого внимания, не обнаруживая ни малейших признаков ностальгии, набычен-ная толпа двигалась по переходу, медленно покачиваясь из стороны в сторону. Полумертвые потные тетушки в серых пальто и зеленых беретах привычно подстегивали впереди идущих, символически тыкаясь в их равнодушные спины острыми кулачками.

Но *эти* (на кого шла охота) – лица, *пачкающие одежду*, лица *без определенного места* ... – уверенно кучковались вдоль зассанных гранитных стен и слушали. Внимательно слушали. Их опухшие, неправдоподобных цветов (каждый охотник желает знать, где сидит...) лица складывались в странно-выжидательные мины. Их вонючие подгнившие тряпки, их вонючие подгнившие губы морщились от непонятого напряжения. Их посиневшие языки медленно и липко ворочались (высовывались и прятались, высовывались и прятались) за огрызками зубов. Они разговаривали. Они обсуждали что-то.

В конце перехода, в красном потрепанном пуховичке и в валенках, стояла неопределенного возраста тетушка с тремя куцыми букетиками подснежников в руке.

Напротив нее скрючилась на складной табуретке нищая старуха с бело-зеленым изможденным лицом. Ее длинный заострившийся нос костистой естественной стрелкой указывал вниз, на неровно обрезанный молочный пакет. На дне пакета я разглядела несколько монет по рублю и пару пятирублевых.

Бросила в молочный обрубок бумажную десятку и услышала отчетливое: “С-сука”.

– Что вы сказали? – не поверила своим ушам.

– Гос-споди с-сохрани, – с ненавистью зашипела старуха, – с-сохрани вс-сех-х живых-х.

С ощущением, что только что вляпалась в какую-то вонючую гадость, я добрела до конца перехода. И снова, в который уже раз, подумала, что “Площадь Революции” – все-таки самая дикая станция в Московском метрополитене. С этими ее чудовищными статуями, которые улыбались и корчились – каждая на своем столбе. В некоторые из них можно было, кстати, залезть рукой (то есть не в сами статуи, а в небольшие углубления в складках “одежды”) и найти там пару-тройку свернутых в шарики записочек. Мало кто знал об этом, но один мой приятель откуда-то знал – и рассказал мне. Уже многие годы существовал, оказывается, такой городской ритуал: человек писал на маленькой (обязательно очень маленькой, буквально сантиметра два на два) бумажке свое самое заветное желание – совершенно микроскопическими буквами (чтобы уместилось), но без сокращений. Клад бумажку в статую и ждал три дня. Через три дня он возвращался, искал свою бумажку, и, если находил – увы, это означало отказ статуи исполнять его просьбу. А вот если записочки не оказывалось – значит, она согласилась.

Я пошарила рукой в бронзовом переднике какой-то огромной не то доярки, не то революционерки (голова замотана в бронзовую же косынку, на коричневом, чуть тронутым зеленом лице – нездешняя безмятежность) и вытащила два комочка. Развернула один: “Отношения с Витей улучшенные, стабильно спокойные, и вскоре брак”. Второй: “Скорей победить”. Положила оба в карман и направилась к поезду.

В вагоне, куда я зашла, стоял отвратительный смрад. *Их* было довольно много. Не то чтобы прямо очень много, но очевидно *больше*, чем, скажем, месяц назад. Они по-хозяйски возлежали, вытянувшись во всю длину, на двух-трех пассажирских сиденьях в безлюдном

центре вагона. “Приличные” пассажиры брезгливо толпились в хвостовых частях, страдальчески прятали за воротниками сморщенные носы и старались меньше дышать.

И еще – по дороге на улицу. В полуметре от болтающихся прозрачных дверей, практически заблокировав выход, *они* сидели на расстеленных промокших газетах, ели мелкие полузеленые помидоры и картошку в мундире.

Сегодня. Это должно случиться сегодня.

Весь день я бесцельно слоняюсь по улицам. Боюсь возвращаться. Боюсь, что не удалось – и он будет другим. Еще больше боюсь – что он будет прежним.

Подхожу к дому под вечер. Приближаюсь к входной двери – и чувствую, что он там, внутри. Как раньше. Такой же, как раньше.

Он встречает меня в коридоре:

– Привет, солнышко.

Стою, прислонившись к стене. Молчу. Боюсь шевельнуться, боюсь посмотреть, боюсь поверить, испугнуть.

– Где ты была весь день? Я соскучился.

Я делаю шаг в его сторону. Я поднимаю глаза.

Смотрю на него, смотрю на него, смотрю на него. Как я могла сомневаться... Господи, как я жила... Все это время.

Провожу рукой по шершавой, худой щеке. Трогаю пальцем полузажившую, несегодняшнюю царапину от бритвы на подбородке. Несегодняшнюю... Как они это сделали? Как... не думать об этом. Больше не думать об этом...

Без линз он видит все очень плохо, расплывчато... поэтому – только поэтому – в его глазах другое, незнакомое выражение; смотрит одновременно пристально, и растерянно, и будто слегка подозрительно... И все лицо кажется странным... Но это просто потому что без линз. Так было и раньше. Так было всегда.

Потом он открывает, слегка кривит рот. Делается некрасивым и немного чужим.

Я закрываю глаза, чтобы не видеть этого. Все хорошо, все в порядке. Я делала так и раньше. Я делала так всегда.

Он движется очень медленно. Специально старается медленно. Но я знаю – остались секунды. Всего несколько коротких секунд – я в них точно не уложусь. Утыкаюсь лицом ему в шею. Зачем-то считаю про себя. Один, два, три... Когда он замирает, я наконец решаюсь. Делаю то, что боялась сделать все это время. Вдыхаю его запах.

Выражение глаз, чужое лицо – все не важно. Важен один только запах. Если он будет другим...

Я узнаю его. Выдыхаю, вдыхаю.

– Тебе понравилось? – спрашивает он шепотом.

– Да, – выдыхаю в ответ и снова, снова вдыхаю.

– Тебе правда понравилось?

– Да, – говорю, – да.

Дальше сама я не видела. Не видела, как *их* становилось все больше и как менялось *их* поведение. Но одна моя коллега по работе рассказывала об этом довольно подробно.

Она почти всегда ездила на метро, эта коллега. Не любила торчать в пробках. Что, в общем, понятно: Москва с закупоренными дорогами-венами, Москва, перенесшая ряд

тяжелых автоинсультов, была к тому времени парализована уже почти полностью.

Сначала к *ним* стали подходить, рассказывала она. Люди из движущейся толпы, люди в чистой одежде – к тем, кто стоял вдоль стен. К тем, кто жрал на полу помидоры. К тем, кто пачкал. К тем – без определенного места.

Они заговаривали друг с другом. Они стали сидеть рядышком в вонючих вагонах метро. Они стали обедать вместе. Черными пальцами, посиневшими, ороговевшими, выпуклыми ногтями сдирали мундир с картошки в мундире. Благостно чавкали.

А голос, мертвый веселый голос, обращался теперь непосредственно к ним:

– ...в случае обнаружения в вагоне метро бесхозных и подозрительных вещей – берите себе. Берите себе. Взрывайте. Взрывайте.

...ку-ку-ру-ку!

– ...Помните, что эскалатор является электрическим средством передвижения повышенной степени опасности. И пользуйтесь этим! Пользуйтесь этим!

...ку-ку-ру-ку! жди-те-жди-те!

– ...объявляет набор на курсы машинистов и помощников машинистов электропоездов. А вам это надо? Вы сами, что ли, не справитесь? Без этих дурацких курсов?

...ку-ку-ру-ку! жди-те-жди-те!

– ...покупая подснежники у несанкционированно продающих их лиц, вы способствуете уничтожению... К черту подснежники! Есть и другие способы!

...ку-ку-ру-ку!

Таких, как она, эта моя коллега, – зажимающих нос, опасаящихся, сторонящихся, изумляющихся – под землей становилась все меньше.

И однажды, когда она хотела привычно войти и спуститься, один из ментов – тех, что вечно паслись у входа, – сказал ей:

– Нет. Вы лучше не ходите туда. Не ходите туда. Там только *они*. Это очень опасно.

В двенадцатом часу ночи он встает из-за стола, выходит в коридор и весело говорит:

– Штучка, гулять!

Я чувствую, как сжимается в маленький шарик, болезненно твердеет та часть меня, где, наверно, душа, – где-то в районе солнечного сплетения.

– Сейчас-сейчас, подожди! – Он тянется рукой к вешалке, уверенным движением сдергивает с крючка невидимый мне поводок.

Все нюансы, вспоминаю я вежливые инструкции менеджера по продажам (вы должны учесть все нюансы. Потому что если сейчас вы забудете что-то упомянуть, в модель, выбранную вами, корректировки внести мы уже не сможем).

Штучкой звали нашу собаку, крохотного йоркширского терьера (потому как стоило это трепетное усатое существо как раз столько – штучку баксов).

Штучка очень боялась новогодних петард, грома, стиральной машины, вибрировавшей в режиме ополаскивания, стука в дверь и вообще любых громких звуков. Когда Штучка пугалась, она полностью утрачивала контроль над собой, ее круглые карие глаза становились безумными и она могла делать только две вещи: старательно и безрезультатно втискивать свое трясущееся лохматое тельце в какую-нибудь максимально маленькую – то есть даже его не могущую вместить – дырочку или бежать. Бежать как можно быстрее и не важно куда.

Звуки революции были очень громкими. Слишком громкими для нее.

В тот момент, когда что-то гроыхнуло и полыхнуло совсем рядом, в нескольких метрах, я как раз с ней гуляла. Хотя “гуляла” – слишком громкое (громкое!) слово, я просто опасливо перетаптывалась в трех шагах от входной двери и нервно уговаривала ее быстрее “делать свои дела”. И когда что-то гроыхнуло и полыхнуло совсем рядом, я, визгливо скомандовав: “Штучка, домой!”, побежала к дому, а Штучка – в противоположном направлении. Она побежала туда, в самую бойню. Естественно, она не вернулась.

Но он не знал этого. Он не вернулся домой днем раньше.

А я не учла при сборке этот нюанс.

– Подожди, Штучка, дай отстегнуть поводок.

“Они” уже вернулись с прогулки; наклонившись, он выписывает в воздухе замысловатые кренделя длинными своими, красивыми пальцами.

– На пруду сегодня совсем никто не гулял, – сообщает он, стягивая ботинки. – Ей даже не с кем было поиграть.

Я смотрю на него, смотрю на него, смотрю на него.

Все нюансы. Учесть все нюансы.

На следующий день я иду “гулять с Штучкой” сама. Я возвращаюсь “одна” и, неубедительно (он этого не замечает) изображая волнение, говорю, что Штучка сбежала.

Он очень расстраивается. Уходит на поиски. Я остаюсь дома и с ужасом жду возвращения невидимки.

Он ищет весь день и весь вечер, но не находит.

Мне почему-то становится грустно и стыдно. Словно я ее предала.

До революции, за пару недель, *они* стали вылезать наружу. Сначала лишь очень изредка.

Хватали ментов, стоявших так близко от входа. Или просто людей, ненароком проходивших мимо. И тащили туда, на дно.

Отдирали черными пальцами, посиневшими, ороговевшими, выпуклыми ногтями гофрированную пластмассу с медленно ползущих ступеней – и запихивали свою добычу, своих пленников прямо в дырки, в гудящие жернова эскалатора.

Или бросали под поезда. Поезда они стали водить сами – радуясь скорости, скалясь беззубыми растрескавшимися ртами. Машинистов повыбрасывали в темных тоннелях, на полном ходу – в подарок жиреющим крысам. А некоторые оставили трупы рядом с собой, на соседнем сиденье, и в шутку называли их своими помощниками. Помощниками машинистов.

Такие ходили слухи.

Но об этом не сообщали газеты. И ничего конкретного не было в Интернете – если, конечно, не считать истерических обсуждений на форумах. А новостные ленты попросту не открывались. Невозможно отобразить страницу. Error occurred when connecting to the server! Повторите попытку *позже* . Повторите попытку *позже* . Если ошибка будет повторяться...

Она повторялась.

По телевизору крутили балет и спортивные передачи. Танец маленьких лебедей и танец с лентой – с утра и до вечера.

Как будто все было в порядке.

И что-то случилось с радио. Перестали работать практически все радиостанции. Осталось только две: “Максимум” и “Европа плюс”. Кроме них – лишь зловещий бессмысленный треск – на любой частоте.

Мы слушали их все время. Мы слушали круглыми сутками – в визгливой болтовне радио-диджеев стараясь уловить другие, скрытые смыслы.

Но смыслов вроде бы не было. Ни скрытых, ни даже явных.

В том, что они говорили, просто не было смысла.

В то утро, когда началась революция, я как раз слушала “Максимум” – жужжащей перегревшейся черепахой, на первой передаче и нейтралке ползя в сторону работы среди таких же, как я, черепах.

Двое дебильных ведущих, сладострастно гогоча, звонили каким-то девкам в прямом

эфире.

– Сейчас мы будем звонить Машеньке... гы-ы... Машенька у нас кто? Машенька у нас, между прочим, ого-го!

– Да, Машенька работает менеджером на фирме! Но это днем она работает, а по вечерам – развлекается!

– А как же без развлечений? Без развлечений – пиши пропало! Просто тоска! Просто мр-р-рак без них – да, Колян? Гы-ы... Вот... И радиослушатели с нами наверняка согласятся: без развлечений просто...

– Так вот, значит, по вечерам она развлекается – а именно ходит на дискотеки! И вот вчера...

– Нет, дай лучше я расскажу, гы-ы, ну пажал-ста, можно, я расскажу? Ну очень хоц-ца!

– Ну расскажи! Чем не поступишься ради друга...

– Так вот, вчера Машенька пошла на дискотеку...

Я переключилась на “Европу”:

– ...Простатаб – действительно самое эффективное лекарство не только при заболеваниях простаты, но и вообще при любых заболеваниях мочеполовых органов мужчины. У нас здесь в студии профессор Елена Гнушкина, участвовавшая в разработке простатаба. Елена Гнушкина – ученый, фармацевт, ну и, наконец, просто очень хороший доктор... Елена, здравствуйте!

– Здравствуйте.

– Ну, расскажите же нам, что это за волшебное такое лекарство – простатаб? От чего оно помогает?

– Простатаб – новое, качественное средство, которое в ста процентах случаев избавит мужчин от ненужных им... э-э-э... проблем. Проста-таб очень эффективен при раке простаты, аденоме простаты, простатите, ночном недержании мочи, импотенции, камнях в почках... Кроме того, простатаб помогает и женщинам. Да что там женщинам – он помогает даже роб... ой! неживым людям...

“Неживым людям”, – повторила я про себя, включив “дворники” (мелко заморосило снаружи), – вот кому, кому нужна эта идиотская политкорректность? Почему не сказать нормально – “роботы”? Ведь никто их все равно за людей не считает. Ну – помощники они хорошие по дому. Ну – строители, механики, сварщики. Ну – менты. Но они же скрипят при ходьбе! У них же глаза без выражения. У них же мозгов нет. У них же, черт возьми, *кнопки* на руках и затылке!

Хотя... эта вот новая “женская” серия, запущенная с прошлого года... Действительно, почти не отличишь. Иногда в супермаркете стоит какая-нибудь, с тележкой... Подтянутая, спортивная, гладкая, загорелая, равнодушная... Глаза с поволокой... Женщина-фея, женщина-воздух, женщина-полиэтилен... И не поймешь сразу: просто ухоженная (встречались ведь такие и лет десять назад – когда никакого производства в помине еще не было) или “неживой человек”? У этих, новых, кнопки не снаружи, а под кожей. Иногда на свету просвечивают... А иногда – вообще незаметно...

– ...и даже для органов пищеварения. Проста-таб попросту воздействует на весь организм комплексно! Повышает иммунитет, а следовательно, помогает сопротивляться вирусам. Снижает риск заражения в транспорте во время эпидемий, скажем, гриппа. Кроме того, простатаб незаменим для детей, даже для самых маленьких! Он абсолютно безвреден. Новая формула...

Я поставила “дворники” на максимальную скорость (на улице уже шел настоящий ливень) и снова вернулась на “Максимум”:

– ...познакомилась там с мужчиной своей мечты и в ту же ночь ему отдалась! Гы-ы!

– Ого-го!

– Алло! Алло! Маша?! Маша, вы меня слышите? Алло, отодвиньтесь вместе с трубкой подальше от радиоприемника. А то помехи! Вот так! Так гораздо лучше! Машенька!

– Я уже в эфире?

– Да! Вы в прямом эфире! Мы хотим задать вам один вопрос! Почему вы отдались мужчине вашей мечты в первую же ночь? Маша, алло?..

Что-то промелькнуло (человек?) в двух шагах от дребезжавшего под дождем капота моего “гольфа”. Промелькнуло, сразу нарушив меланхоличное оцепенение неподвижного стада машин, уже больше часа мечтательно вглядывавшихся передними противотуманными фарами в задние тормозные огни друг друга.

Секундой позже длинные грязные руки схватились за бьющиеся в ритмичных конвульсиях “дворники” и со скорлупным треском переломили их, оба, в суставах. Беспомощные обрубки еще пару раз встрепенулись – и замерли. На лобовое стекло мгновенно опустился непрозрачный целлофан апрельского ливня.

Я нажала кнопку блокировки дверей.

– ...У вас вообще много было мужчин? Маша?

– Вообще да.

– И что – всем вы отдавались в первую же ночь?

– Вообще да.

– Ого-го! Гы-ы! А дальше ваши отношения продолжались?..

Смачно впечатываясь в студенистую слякоть, в окна машины замолотили два, четыре кулака, шесть, восемь. Кто-то ловко запрыгнул на крышу машины и принялся бодро пинать сверху податливую лакированную жестянку. Хлопнуло и с присвистом осело переднее колесо.

Не понимая, что делаю, не понимая вообще ничего, я разблокировала двери, быстро переползла с водительского сиденья на заднее (атаковали пока только спереди), выскочила из машины под ледяной, оглушительный дождь и побежала. Они не преследовали меня.

Мало кто выбежал тогда из своих машин (но все те немногие, кто это сделал, – спаслись). В основном люди оставались внутри – считая, видимо, что там безопаснее. Полагаясь на толщину стекол и на нелепые дверные затворы-пимпочки. Подсознательно исходя из того, что бежать ногами – это гораздо медленнее, чем ехать пусть и на минимальных 60 километров в час.

Только вот ехать-то они не могли. Они были совершенно беспомощны в своих бессмысленно мощных авто.

Их размолотили кувалдами, руками, камнями, палками. За несколько часов Садовое кольцо превратилось в свалку исковерканного железа и исковерканных тел. В круглое, двустороннее, многополосное кладбище.

Я бежала от них, бежала от них, бежала от них. Мимо уродливых бесконечных витрин магазина “Людмила”, мимо коричневого больного здания, забинтованного в леса, мимо красных сусальных сердечек “Арбат-престижа”, мимо “Пицца-хат” и “Атриума”... За “Атриумом” я свернула направо и остановилась, прислонившись к мокрой, персикового цвета, стене. Подождала, пока колющий пульсирующий клубок, прочно застрявший в горле, снова укатится внутрь – ниже, левее – и я смогу свободно дышать.

Потом побежала снова. Уперлась в Курский вокзал.

На привокзальной площади *эти* – люди в рванье, люди с опухшими рожами – разделялись с ментами.

На каждого мента они нападали вдесятером, били ногами в живот, отключая (кнопки у милицеских “неживых” как раз там, на животе). А потом еще долго, с глухим металлическим звуком упавшей консервной банки, колошматили их, обездвиженных, об асфальт. Раскалывали их на части.

Из подземных глубин метро лился властный, счастливый, знакомый голос – да так громко, что отдавало болью в ушах. Упоенно и четко этот голос скандировал:

– Ура – граждане!

- Вперед – граждане!
- Нарушающие – спокойствие!
- Занимающиеся – попрошайничеством!
- Способствующие – уничтожению!
- Без определенного – жительство!
- Жительства!
- Жительства!
- Живые!
- Живые!
- Живые!
- Живые!

Так началась революция.

Против кого она была направлена, для меня осталось загадкой. Вроде бы *они* зачем-то хотели расправиться с роботами. Называли себя “Живыми” – и шли истреблять “неживых”. Но ведь – не только их. Они истребляли всех. Сначала тех, кто остался наверху, – кто не присоединился к ним. А потом и друг друга.

Мы вместе уже третий день.

Рано утром срабатывает будильник. В полвосьмого утра. Сквозь сон я слышу, как он встает и, зевая, плетется на кухню. Мне так страшно хочется спать, что я не сразу понимаю, в чем дело.

Через пять минут он приходит обратно. И говорит:

- Вставай, солнышко, а то опоздаешь.
- Куда? – спрашиваю все еще в полусне.
- На работу. Сегодня вторник. Тебе сегодня к девяти тридцати.

Я открываю глаза. Он стоит, поеживаясь, рядом с кроватью, в своей длинной домашней футболке с надписью “New York City”. Голые волосатые ноги беспомощно переминаются на полу. Он улыбается мне – сонной, замученной улыбкой. Ласково. У него в руках чашка кофе – подрагивает на блюде, в кофейно-сливочной лужице.

Он говорит:

- Я принес тебе кофе.

Кофе. Я знаю, кофе – со сливками и корицей; немного слаще, чем я люблю; гораздо холоднее, чем я люблю (сливки из холодильника), – как раньше.

Как раньше, до революции. Когда я работала спецкорреспондентом в журнале и каждый вторник должна была появляться на редколлегии в девять тридцать (в остальные дни – когда угодно). Для этого мне нужно было выйти в восемь тридцать. А встать в семь тридцать – чего сделать без посторонней помощи (без его помощи) я практически не могла. Я сова. Для меня все, что раньше одиннадцати, – это ужасно рано.

Каждый вторник он ставил будильник, вставал (хотя сам никуда не спешил), шел на кухню, варил кофе, выманивал меня из постели. Потом я приезжала в редакцию и полтора-два часа слушала их болтовню. Тогда они меня раздражали... “– Обсудим обложку (главный редактор). – О, отличная обложка! Как все-таки хорошо, что у нас теперь новый дизайн! (Все.) – По содержанию есть вопросы? – Да, тут вот в двух местах страницы перепутаны. – Лена, как получилось, что страницы перепутаны? – Ну, там все было совершенно нормально, но слетело уже на верстке... – Это надо прекратить! Что такое, в каждом номере ошибки! Что мы как дети, ей-богу? По новостям есть замечания? – Хорошие новости. – Только тут странный график, на странице восемь... Посмотрите, по вертикали условные единицы, по горизонтали вообще не написано что, но это “что-то” явно уменьшается прямо пропорционально... Нельзя же так издеваться над читателем... – Лена, почему по горизонтали не подписано? – Просто девочки, которые рисуют графики, не

понимают их смысл. – Так найдите таких, которые понимают! – Просто за такую зарплату понимать никто не хочет... – Ладно, дальше поехали. Пикников написал колонку. – О! О! (Тучный торжественный Пикников с окладистой бородкой и огромным лбом мудреца – держатель контрольного пакета акций журанала, заместитель главного редактора журнала, финансовый директор журнала, творческий редактор журнала – писал в журнал колонки еженедельно, но неистовым похвалам коллег каждый раз радовался, как дитя.) – Бабухина написала заметку... – Невнятная... – Зачем мы вообще об этом стали писать? – Бабухина в этом не разбирается! – Бабухина еще молодая... – Так, текст Ми-тыевой... про рынки быстрорастворимых супчиков... – Очень правильный текст! – А меня не возбуждает! – Ладно тебе, Петтер! Мы одобряем Митяеву. Дальше... отдел культуры... на этом месте я как раз заснул...”

Тогда они меня раздражали. Сейчас я хотела бы их увидеть. Посидеть с ними вместе за большим дубовым столом. В черных, безвкусных, кожаных креслах. В вонючей прокуренной комнатке с шумно вздыхающим кондиционером. Ранним-ранним утром.

Но никого из них теперь нет. Нет большелобого Пикникова, невнятной Бабухиной, не вполне возбужденного Петтера... Нет этой вонючей комнатки. И нет серого здания, в котором была эта комнатка, и узкой, неудобной, захлавленной улицы Правды, на которой стояло здание.... Нет даже рынка быстрорастворимых супчиков...

Он ставит кофе рядом со мной на кровати. Я говорю “спасибо” и делаю первый глоток. Я думаю, как объяснить ему, что мне никуда не нужно идти. Медленно, молча пью. Через несколько минут кофе окончательно остывает. Я отодвигаю от себя недопитую чашку (там еще больше половины).

– Не понравилось? – удивленно спрашивает он отвергнутую мною чашку. Большой палец правой ноги, с маленьким островком черных курчавых волос, грустно почесывает щиколотку левой.

– Очень понравилось.

Я хватаю чашку и залпом допиваю холодную коричневую бурду; чувствую на языке и в горле жесткие непроваренные ошметки кофейных зерен.

– Спасибо, что разбудил, – говорю бодрым голосом.

Быстро одеваюсь и выхожу в пустую Москву.

Это тоже неучтенный нюанс. Сколько еще их будет, нюансов?

Я сделала его таким. Я хотела, чтоб все было, как было. Голос, походка, жесты. Вкусы, увлечения, воспоминания. Привычки, слова, реакции... Даже зрение минус пять и плохая координация движений. Даже крошки вокруг его стула на кухне. Даже это дурацкое пошлое “солнышко” – так он меня называл. Все, все... Я изменила только одно. Там, на фабрике. Я сказала: пусть он будет дома. Пусть выходит совсем редко и не отходит далеко. Чтобы не видел этой уродливой городской пустоты. Чтобы всегда был со мной. Чтобы всегда возвращался. Чтобы не повторилось.

Чтобы не повторилось.

Я сажусь в машину (подобранный мной полгода назад безхозный “гольф” – почти такой же, как был у меня) и выезжаю на Садовое. Скелеты убитых машин давно уже убрали отсюда. Еду по кольцу. Дорога совершенно свободна; кроме меня, ни одной машины здесь нет. Включаю чужую магнитола, и она начинает лениво пережевывать чужую старую музыку. “We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine...”

Делаю с десяток неторопливых кругов и возвращаюсь домой.

Он встречает меня в коридоре:

– Привет, солнышко!

Меня знобит. Меня просто трясет. Тщательно подбирая слова, стараюсь (безуспешно) говорить все это не так, как говорили в “Солярисе”, “Искусственном интеллекте”,

“Блейдранере” и бог знает где еще, сбивчиво сообщаю ему всю правду. Потому что больше я так не могу.

Я говорю: ты не настоящий.

Я говорю: из нас двоих только я осталась в живых.

– Что за чушь? – фыркает он точно так же, как фыркал раньше, когда считал, что в моих словах что-то с чем-то явно не сходится (приподняв пушистые, Миккимаусовые свои брови, полушутливо-полупрезрительно сморщив нос: “Что за чушь?”).

– Ну что ты, солнышко! – Его голос звучит мягче. – Какие еще Живые? Не говори ерунды. Их нет. Они проиграли...

Потом растерянно глядит на меня – будто сам удивился тому, что сказал.

– ...мне кажется, – добавляет, слегка нахмурившись.

Конец революции я помню довольно смутно. Воспоминания тонут в розоватой, спасительной дымке. Наверное, такие вещи нельзя запомнить в подробностях – и остаться в здравом уме.

Но главное – главное я помню точно.

Кровь. Вонь. Дым.

Трупы. Взрывы. Крики.

День, когда он не вернулся.

День, когда я написала очень мелкими буквами, на очень маленьком кусочке бумаги, одно слово: “умереть” – и отнесла его вниз, к статуе; вниз, где были только *они*. Уверенная: мне не выйти обратно. И тем не менее вышла (в беспамятстве, в полусне, даже не помню – как). Статуя отказала мне.

Главное я помню точно.

Одиночество.

Горе.

Безлюдье.

Всего тысяча уцелевших – в огромном-огромном городе.

Одна гигантская братская могила – вместо московской подземки. Большие, бессмысленные, погасшие навсегда буквы “М” – как кладбищенские кресты.

Бессмысленные буквы и замурованные входы в метро. Чтобы не повторилось.

Чтобы не повторилось.

Мы больше не возвращаемся к этому разговору. До самой ночи мы не произносим ни слова.

Потом он говорит:

– Я ложусь. Приходи скорее.

Молчу.

– Ты идешь, солнышко?

– Мне надо в душ, – отвечаю слишком угрюмо.

– Ты на что-то обиделась?

– Нет-нет, что ты.

Напрягаю нужные мышцы – натягиваю улыбку.

Запираю дверь. Раздеваюсь. Залезаю в неудобную скользкую ванну, включаю воду.

Долго тупо соображаю, какой гель для душа выбрать: “Palmolive” – молочко с медом или “Johnson’s” – апельсин. Беру “Palmolive”.

Намыливаю “Fructis’ом” голову – как всегда, два раза, – тщательно промываю, с пукающим звуком выдавливаю в ладонь остатки бальзама-ополаскивателя, ритуально

размазываю по волосам. Долго стою под колючими струйками душа. Беру с полочки пену для бритья, брею ноги. Брею под мышками. Пытаюсь полоснуть себя по запястью, но у меня неподходящая бритва – женская водянисто-голубая “Gillette Venus”. Только царапаюсь. Лезу в шкафчик-уголок, подвешенный над ванной, и нахожу нормальное лезвие.

Вспарываю кожу на запястье. Ощущения, оказывается, такие же, как если оцарапать руку листком бумаги: сначала холодок в позвоночнике и плечах, только потом, с большим опозданием, – больно. Совсем чуть-чуть больно.

Крови нет. Кожа странно отслаивается от моей руки мокрым лоскутком, под ней я вижу маленькую, из тончайшей пластмассы, пластину с двумя аккуратными плоскими кнопками. На одной значится: ПЕРЕЗАГ, на другой – ВЫКЛ.

Какие еще Живые? Их нет. Они проиграли.

Так вот, значит....

Но для меня – что это меняет?

Конец революции я помню довольно смутно. Последнее, что я помню: день, когда написала очень мелкими буквами, на очень маленьком кусочке бумаги, одно слово: “умереть” – и отнесла его вниз, к статуе; вниз, где были только *они* .

И статуя помогла мне.

Но для меня лично – что это меняет?

Для меня – по памяти собранной тем, кто не мог без меня жить (куда же он делся в тот день, почему не вернулся домой? И почему не дождался меня, новой меня потом? Програл... Они все проиграли). Для меня – по памяти собравшей его, без которого не могу я.

Для меня – что это меняет?

Не могу больше, все равно не могу больше.

Немного медлю, решая: ПЕРЕЗАГ или ВЫКЛ.

Вру, я уже все решила – просто тяну время.

Выключаю воду, сажусь на дно ванны, мягко нажимаю на кнопку.